

продолжение

Category: Kitapcy, Romanlar

написано kitapcy | 24 января, 2025

Казнь Махамбета -8/ продолжение История вторая

ИЗМЕННИК

– Изменник!

Карауыл-кожа не говорил – визжал над Сагынтаем, чья спина была рассечена недавней поркой и превратилась в один сплошной кровавый шрам. Несчастный пастух, из беднейших шаруа немногочисленного рода Кызылкурт, имел наглость пасти свой скот на его, зятя славнейшего из ханов младшего жуза, землях, и получил за это сорок плетей. Пол мнению самого Карауыл-кожи наказание было вполне справедливым – недавно назначенный Жангир-Кереем управлять землями от Кызылкоги и до самых северных границ Бокеевской Орды, он сразу же начал вводить порядки, которым научился еще во времена гимназической юности в России. Для всех прочих происходящее было в новинку – даже самые верные и близкие родичи удивились, услышав требование нового правителя догнать пастуха, каких-то три ночи пропасшего свое стадо в несчастные сто голов на самой границе подчиненных теперь их роду земель. Догнать, поймать, и привести вместе со всем стадом в его ставку!

Пастбища испокон веков были общими. Земля принадлежала всем – и никому, и даже поговорка у степного народа была, что только ковыряющиеся в ней земледельцы промеж собой спорить могут, кому принадлежит земля, кочевник же знает, что это мы сами все принадлежим ей. Но зять хана Жангир Керее, все свое детство проводивший с ним в числе аманатов из сыновей самых видных глав кочевий в России, считал нужным изменить все – от старых укладов, до пословиц. Балагур и весельчак, любивший женщин, крепкие русские напитки и жирную еду, а того паче – любивший

деньги, Карауыл-кожа становится собственностью земли не торопился, но, напротив, стремился сам сделать ее как можно в больших количествах своею собственностью, и использовал для этого все, чему обучился в империи. Это для родичей его казалось невероятным, что за выпас скота на вверенной ему земле можно высечь человека плетью до полусмерти, а скот этот самый отнять, в качестве «уплаты за выпас». Что за посягательство на имущество можно обвинить изменником. Сам же Карауыл-кожа Бабажанулы, будучи еще юным гимназистом, одним из немногих кайсацких детей, кого за веселый нрав и вечное наличие денег в кармане, дети русских чиновников принимали в свои игры и не кликали обидно «чуркою», хорошо запомнил сцену, свидетелем которой стал в Астрахани.

За мелкой кражей на базаре, что на Исадах, поймали слугу барина из Тульской Губернии, приехавшего с визитацией к генерал-губернатору в гости. И был тот несчастный воришка так же вот нещадно выпорот на подворье, в присутствии хозяина, и хмурых астраханцев, бурчащих себе под нос, что мол бежишь от произвола барского, от крепости бежишь до самых астраханских гиблых болот, а они и сюда со своими порядками нос суют! Но не бормотание обычных астраханцев впечатлило юного степняка, а услышанный им разговор, состоявшийся прямо во время порки, промеж астраханским губернатором и тульским гостем: как первый ругал обычай держать крестьян в крепости, и гордился тем, что в самой Астрахани такого никогда не было, а заезжий барин в ответ жарко доказывал, что на праве хозяина владеть не только землей и имуществом, но и людьми, на земле проживающими, и держится империя русская!

Понравилась мысль эта Карауыл-коже – владеть! Землей владеть, и даже людьми! Когда несколько лет назад Жангир Керей наконец принял полноправное ханство над наследием отца своего, подкрепленное указом самого императора из далекого Санкт-Петербурга, когда в ханской ставке возвели наследника Бокея на белую кошму, после праздничного тоя, отправился он в юрту к старому другу, с которым уже три года как состоял в родстве, и

предложил ввести крепостничество над шаруа всей орды. Рассердился тогда Жангир Керей, однако гнев, по обыкновению своему, выказывать бранью не стал, а показал газеты петербургские, в которых писалось о том, что скоро и в самой империи право крепостное отменять надобно, намекнул, что за такое недолго и бунт в степи получить. Свидетелем разговора того был Махамбет, сын Утемиса, что привез на праздник из Оренбургской школы ханского сына Зулькарная.

Раньше ведь как было – каждое слово Махамбета ценил хан Жангир Керей, прислушивался, но после того, как женился на татарке Фатиме, а самого Махамбета отправил в Оренбург, пропала-исчезла старая дружба между буйным степным акыном, и образованным на русский манер ханом. Все наоборот стало. Так и в тот раз – слишком яро возмущился Махамбет словам Карауыл-кожи, принялся с жаром на устах говорить об адатах-традициях степных, о свободах кочевничьих, что испокон веков неприкосновенны были. Вот тут поморщился хан Жангир Керей, и явно назло бывшему советнику своему взял, да и пообещал прилюдно, что в ближайшее время назначит зятя своего, сына верного отцова соратника Бабажана, любимого всеми за свой веселый нрав и ум Карауыл-кожу, ни много, ни мало – главой над всеми родами Бокеевской Орды, что близ моря кочуют. А на прощанье еще и дорогой подарок сделал – любимую книгу свою в новом издании, привезенную недавно из России, новый русский перевод трактата мудреца из далекой Италии, некоего Маккиавелли: «Государь». Повезло, что называется!

А еще больше повезло, что первое, примерное наказание за нарушение новых порядков не на своих, а на этом вот несчастном чужаке довелось совершить. Свои-то, они и обидеться могут, хотя, если верить тому же хитромудрому Маккиавели, однажды придется и своих наказывать. Непременно придется. Вон как смотрят, хмурятся от непонимания причин такой суровости, удивляются...

Сагынтай не понимал, и удивлялся. Удивляться через боль было ему непривычно – двадцать зимних кочевий, двадцать летних

выпасов за спиной у шаруа из рода Кызылкурт, и каждая причина боли в степи была понятна и объяснима, а уж камшой вольного степняка по спине бить только за воровство полагалось, но так ведь ничего не украл честный шаруа Сагынтай, ни на чью имуществу не претендовал, пас небольшое стадо свое, перегоняя через границу Кызылжара, всего то сто с лишним баранов да овец, ведь и в прошлом году так же делал, и в позапрошлом, что изменилось-то? И почему он теперь вдруг – изменник? Кому он изменил, в чем?

– Агай, а почему – изменник? – спросил у Карауыл-кожи один из жигитов, что участвовал в поимке Сагынтая и стоял теперь рядом, будто мысли несчастного пастуха прочитав. Смутился на миг сын Бабажана и зять Жангир-Керея, но только на короткий такой миг, потому как умел он не только за праздничным дастарханом острой шуткой блеснуть, но и вообще думать умел быстрее самой быстрой стрелы, и ум его был так же остер, как наконечник той стрелы:

– Закону он изменил, что Всевышним нам ниспослан, указом императорским подтвержден, фарманом родича моего высокого, Жангирхана, нам в новый обычай дан! Земли эти, от Кызылкоги и до границ Астраханской Губернии, мои... нет – наши! И детей наших! И трава, что растет на них – наша! А значит, скот его нас с вами, и детей наших объедал! И за то по праву, данному мне нашим ханом, отнимаю я весь скот вора и изменника из рода кызыл курт, Сагынтая, и приказываю справедливо разделить между всеми жигитами, что поймали его по моему слову, в качестве награды. Коня же его... вот, тебе и дарю! – хлопнул Карауыл-клжа по плечу своего жигита, и тот расплылся в радостной улыбке.

Конь-то был не ахти какой, старый был конь, однако само благоволение новой, такой суровой и могучей теперь власти, превращало старую клячу – в могучего скакуна – тулпара, а явную несправедливость, творимую тут – в высшую, недоступную пониманию простых смертных мудрость самой Власти! И понял ханский зять, что меняется история Великой Степи ныне так, как он и хотел, и он сам ее нынче меняет. Изменяет! И еще громче

вопил Карауыл-кожа, и брызги слюны падали на раны расprostертого у ног его степняка, ставшего первой жертвой этих изменений:

– Изменник!..

+ + +

– Изменник! Твой зять – изменник, мой хан, он изменил обычаям Степи, что даны нам еще со времен Шынгыс Хана, и если ты не вмешаешься, вся Степь восстанет против него, а значит – и против тебя! Земли у Кызылкоги – мои! По праву рода моего, по праву рождения, мое кочевье, мои шаруа испокон веков пасли там скот. Когда ты назначил своего зятя главным над кочевьями, мы все думали, что ты возлагаешь теперь на него бремя, которое изначально несли мы – вооружать жигитов, что стерегут границы наши от башкирских, калмыцких, и казачьих набегов, помогать тем из семей шаруа, кого коснулся голод, мор, и джут, кто стал жертвой грабежа – богат твой зять, не убудет от него, так все мы думали, а что на самом деле произошло? Ни одного ружья, ни одного ханжара не купил он нам...

– Ружья продавать нам имперским указом запрещено, то тебе не хуже моего ведомо, Исатай Аке! – раздраженно прервал говорившего главу рода беришей Жангир хан.

– Это ты мне рассказывать будешь? Мой род издавна тайком, через верных людей из беглых каторжан, что в Астрахани хоронятся, за огромную, несправедливую цену ломаные ружья скупает, а потом мы этот мусор за каждое ружье, что в стычках с казаками добываем, русским властям вместо исправного отдаем, клинки из Хивы покупаем, с трудом, но жигитов своих без оружия не оставляем, потому что знаем – ослабнем мы, и никакой русский император уважать тебя, хан, не станет, раздавит, и всю власть над степью себе заберет! Я отцу твоему верно служил, и тебе служу, а сейчас справедливости прошу – накажи Карауыл-кожу, изменника адатов-традиций наших, отними у него власть над данными тобой выпасами, вернись к обычаям, которые тебя на кошму белую подняли, ханом нашим сделали!

Исатай говорил словами тяжелыми, верными словами говорил. Жангир хан задумался. Правда была в том, что пока есть зубы у степного волка, гриф двуглавый на него нападать не поспешит, даже зная, что сильнее, потому как ран лишних да боли никто не хочет. Лучше дожидаться, когда постареет степняк, зубы выпадут, тогда можно и на хребет его слететь с высоты, сломать окончательно. Знал это и его отец, потому и закрывал глаза на действия воинственных беришей, и даже от имперских властей как мог, защищал. Жангир хан продолжал поступать так же, однако перемены, которые он задумал, все равно затронут старые рода, сильные рода, а Карауыл-кожа мало что был родственником, он был и единомышленником хана, получив, как и он сам в свое время, русское образование, и понимая саму суть грядущих перемен, и то, как их в жизнь воплощать следует. Но вот жадность его неумная, конечно, подвела! Наказать того пастуха из Кызылкуртов можно и даже нужно было, но отнимать у него за это все стадо было уже совсем лишним. Тем паче, что пастух этот, как теперь выясняется, не свой скот пас, а одного из родичей Исатая Тайманулы, и разрастается обида, а обижать Исатая, может статься, дороже любого стада выйдет! Поэтому надобно подумать, как бы умаслить матерого военачальника, сделать его из врага наступающих перемен – их союзником?! Хотя и трудно это будет, потому как очень уж привержен адатам старой Степи сын Таймана, глава рода бершей, даже имамов, что прислал тесть из Оренбурга, и которых по велению хана нынче в каждом кочевье содержать должны, из своего стана выгнал за спор с шаманом Тенгри. Как такого в союзники возьмешь, упертый ведь? Вот ведь задачка выдалась, надо бы с Фатимой посоветоваться, она такие сложные расклады умеет так объяснить, что решения сразу на свет из тени выходят!..

– А еще – верни наконец в свой стан Махамбета, сына Утемиса! Пока он рядом с тобой был, ты всех нас к процветанию вел, а как отправил в Оренбург с сыном своим, так и начались у нас эти перемены! – как бы вскользь добавил Исатай, однако вспыхнул тут хан Жангир Керей.

Всякое говорили в Степи о причинах, по которым хан расстался со своим бывшим любимцем, но уж слишком часто во время сплетен этих упоминали имя Фатимы. Терпелив был хан, умел скрывать чувства свои, еще с самого детства, когда в астраханской гимназии впервые был обозван «чуркою кайсацкой», а когда сил не хватило обидчика наказать, и сам был побит изрядно. Но хуже всего была жалость, с которой к нему относились женщины в доме генерал-губернатора после той детской стычки. Закалил в себе Жангир Керей с тех времен доспех хладнокровия, научился чувства свои прятать за невозмутимостью, которую иные порой принимали за высокомерие. И только любовь ко второй жене, которую сам он искренне считал первой и единственной, Фатиме, была брешью в этом доспехе. А бывший друг, наставник и советник Махамбет – острием пики, что пробила эту брешь и вошла в самое сердце!

И теперь в этом сердце незванным, нежеланным, наглым гостем-кунаком поселилась боль. Она прискакала на плюгавой старой кляче – сомнении, и не спешиваясь, прямо в седле, въехала под шанырак его души, в которой и так всегда было беспокойно, а ныне и вовсе царил полный беспорядок. Прогнать кунака не получалось – боль и слабость в душе старшего сына хана Бокеевской Орды жили всегда, уж таким он уродился: мнительным, сомневающимся... вечно ищущим, пытающимся понять себя и окружающий его мир. Жангир Керей Хан нес на себе печать проклятия, известного всем, кто наделен чувственным умом, разумом сердца, тех, кто умеет любить. В этом были его сила... И слабость! В этом был он весь, мечтающий изменить жизнь кочевника, дать обитателям Великой Степи заслуженное ими пристанище, дать им само будущее, в котором они не оказались бы в придорожной колее, на отшибе пути, по которому происходит великое кочевье цивилизаций. Но ни чувства, ни мысли его не разделял его улус, упрямо идущий по колее старых традиций, ведущих к потере силы, потере истории, потере себя, как народа.

Хан любил Махамбета. Хан любил свою жену, Фатиму, дочь

татарского муфтия, этот яркий цветок, такой чужой в его родной степи, но ставший для него всем в этой жизни. Но превыше своей любви хан ставил свой долг. Он мечтал основать не просто династию, но изменить саму историю. Никто не знал о самом большом страхе Жангир Керей хана – оказаться последним ханом своей орды. И каждое свое действие он соразмерял с этим своим страхом, каждое решение принимал, надеясь отдалиться от такой вероятности. Сейчас же, упомянув Махамбета, старого друга, отправленного в изгнание ради его собственной, и его, хана, семейной безопасности, сын Таймана, вождь воинственных бершей его орды, Исатай заставил молодого правителя вновь испытать страх. Со страхом же кочевник борется только одним способом – идет на него, принимая вызов, и надеясь победить в схватке, потому что не спрятаться в степи от самого худшего врага, не убежать, и только сражение есть выход, побег же – лишь отсрочка приговора!

– Вон! Прочь из моего шатра, изменник! Ты, чей род получил от моего отца все блага, какие только можно пожелать, сейчас выступаешь против решений своего хана? Когда мой отец возвеличивал тебя, тоже было много противников, но отец был тверд в своем решении, а сейчас ты оспариваешь твердость решения его сына? Неблагодарный!..

Исатай опешил. Уже немолодой, более воин, нежели политик, привыкший решать вопросы честно и прямо, более всего он ценил свою честь, и слова хана прозвучали обидно. Но не владел воин Исатай речью, как его и хана друг Махамбет, не умел облечь в слова мысли и чувства свои, вот и тут растерялся:

– Но как же?!.. Да ведь не за просто так!.. Род мой кровью доказал верность свою... Каждую награду от отца твоего заслуженно получили мы, и никогда, никто из моего рода, а уж тем паче я, глава его, не восстанут против того, в чьих жилах кровь наших каганов! Ты – торе, потомок великого Шынгыс-хана, по закону и воле всего нашего улуса взошедший на белую кошму, и воля твоя – воля Великого Неба-Тенгри!..

Голос Исатая обрел уверенность, крепость, он говорил уже

привычными фразами, сложившимися веками, подтверждающими верность степняка своему кагану, и сила Великой Степи поддерживала его в этих древних, как молитва, словах, но уши, которые слышали их... эти уши услышали лишь вызов! Уши располагались на голове вошедшего в юрту недавно, и все это время тихо стоявшего там, чтобы не выдать своего присутствия, тестю хана, явившемуся в ставку Жангир Керей по заданию генерал-губернатора Эссена. Впрочем, увлеченные разговором собеседники и не заметили бы его, не заговори сейчас он сам, отвечая на прозвучавший вызов всему, что ставила своей задачей империя.

– Воля хана – не от твоего Тенгри, но от нашего с ним Аллаха! Твои же слова и помыслы – от времени, которое обветшало, как старая кошма на спине дряхлого, паршивого верблюда! Во всем ты противишься новому, и тому, что делает хан! Это ли – не измена?! Великий император российский за такое лишил бы тебя и род твой всех прав и земель, передав их другому, а тебя бы сослал... Хан же твой и есть – волей Аллаха наместник императора на землях Бокеевской Орды!..

– Какие земли?! – повергнутый в изумление неожиданным вмешательством, а того паче – значением прозвучавших слов на ломанном, но вполне понятном кайсацком, произнесенных старым татаринном, выговорил Исатай: – Нет у меня никаких земель! Стада есть мои, табуны, а земель у нас нет, не орысы мы, не земледельцы, вольные кочевники!..

– Совсем постарел да поглупел ты, Исатай, сын Таймана! – недовольный неожиданным вмешательством тестя, которое теперь уже навязывало ему должное решение, проговорил Жангир Хан: – Были у тебя земли, да только не понимал ты этого. А сейчас – не будут! Малое должно уподобиться большему, частью коего является, в этом суть бытия, как сказал бы твой друг Махамбет. И как есть мы часть империи российской, так и кара за измену должна быть подобной! Лишаю я род твой всех выпасов, и передаю их тому, кто истинно предан мне, и ведет мой улус к другому будущему, зятю своему, Карауыл Коже! И если не желаешь быть

воистину изменником, то примешь решение мое со смирением, как и должно. Тебе же приказываю собрать своих жигитов, и вести с ними дозор у северных границ моей Орды. Там калмыки опять пошаливают, казачью станицу вырезали, пойдешь с карательным походом! Достоинство исполнишь волю мою – подумаю об отмене наказания! А теперь иди прочь с глаз моих!

Окаменел Исатай, сын Таймана, от услышанных слов. Заиграли желваки на скуластом лице, узкие глаза словно тьмой покрыло, но сдержался старый воин, ничего не сказал. Покачал только головой, затем резко кивнул, и вышел, не прощаясь.

– Уа алейкума ассалам, сынок! – довольно проговорил старый татарский муфтий, когда полог юрты закрылся за опальным Исатаем. – Мне даже делать ничего не пришлось, а ты уж и сам исполнил порученье, с которым я прибыл для тебя от Петра Кирилловича...

– Да уж, ничего не сделал, агай! – процедил хан. – Письмо от Эссена я получил еще вчера, там о вашем прибытии говорилось, и просьба направить отряды для содействия карательной экспедиции против калмыцких барымтачей была...

– Так чем же ты недоволен, зять мой? Посмотри, как все хорошо сложилось! – улыбка не сходила с лица татарского муфтия и губернаторского эмиссара, пытающегося сделать вид, что все происшедшее сейчас случилось исключительно по воле самого хана, но никак не было навязано ему.

– А тем я недоволен, о мудрый отец любимой супруги моей, что с калмыками у нас, кайсаков, уже давно мир, и теперь я вынужден нарушать этот мир, проливать кровь своих людей за чужую войну! Разве казаки помогали нам, когда мы воевали с жунгарами, потомки которых ныне беспокоят их станицы? Так почему сейчас я должен идти против договоренностей, которые заключил еще мой отец, зачем начинаю новую войну, которая не нужна ни мне, ни моему народу?

Жангир Керей Хан смотрел в глаза своему тестю, который сейчас

был не родичем ему, но представителем грозной, большой силы с Севера, империи, на вооружении которой были пушки, и которая не позволяла его народу вооружаться даже ружьями.

Старый муфтий перестал улыбаться. И взгляд его, твердо встретивший взгляд хана, тоже перестал быть родственным. Ответ же прозвучал и вовсе жестко:

– Почему, вопрошаешь? А потому, что ты есть хан не по той причине, что кровь в жилах твоих от каганов, не ради того, что ты – чингизид, ибо закончилось время чингизидов еще со времен Ивана Васильевича Грозного, который и мой народ подчинил, и вашу столицу Сарайшик порушил. Ты правишь волею не старого Тенгри, но Аллаха, и благоволением нашего Императора! А значит, будешь исполнять приказы его генерал-губернатора, и довольствуйся уж тем, что приказы эти выглядят, как просьбы! А если не пожелаешь, значит ты, хан, и есть – изменник!

+ + +

– «Изменник»! Слово это нынче популярно в нашей империи, любезный мой друг Мугамбет, и мнится мне, что всегда так было, просто по молодой наивности нашей не всегда мы это понимали. Хотя, вспоминая сейчас времена лицеистские, и с высоты прожитых годов кажется, что ведь вот, все признаки были столь явственными, столь ясны и недвусмысленны, что никакая наивность юности не может служить оправданием нашей слепоте! – Александр Сергеевич встал из-за стола в порыве чувств, и принялся шагать по небольшой горнице гостевого двора из угла в угол, расстроенно сжимая пальцы, тонкие, длинные, с ухоженными ногтями, однако изрядно запачканными чернильной кляксою.

Владимир Иоганнович Даль, аранжировавший эту встречу, так и остался за столом, сделав вид, что увлечен своими записками, и бунтарский пассаж своего петербургского знакомого никоим образом не слышит. Махамбет с изумлением смотрел на эту пару, людей, перевернувших весь его мир за время столь недолгого знакомства. С Далем наставник Зулькарная познакомился, правда,

еще в прошлом году, когда только прибыл в Оренбург со своим воспитанником, и сразу же был представлен генерал-губернаторским секретарем этнографу, уже третий год собиравшему степняцкие сказки, былины и предания. Сегодня же довелось познакомиться еще и с Пушкиными – известным, говорят, не только в Петербурге, но и по всей империи, поэтом, направлявшимся в Уральск по каким-то своим изысканиям. По настоянию Владимира Иоганновича, Махамбет рассказал Пушкину историю Баян Сулу и Козы Корпеш, старую кайсацкую легенду, которую оба орыса нашли весьма романтической, и каждый записал в свою книжечку. Пили степняцкий чай, с молоком и на травах, поскольку в гостинном дворе, где проходила встреча, вина не подавали. Однако у Пушкина с собой во фляге походной обнаружился бренди, который поэт и потреблял в одиночестве, потому как ни Даль, ни магометанин Мугамбет, как упорно называл Махамбета поэт, спиртное потреблять нынче не желали. Разгоряченный выпитым, Александр Сергеевич принялся рассказывать о своих намерениях описать пугачевское восстание, и незаметно для самого себя из перипетий событий недавней кровавой истории соскочил на политику сего дня. Впрочем, Даль предпочитал дипломатично отмалчиваться, Махамбет же, не имевший ранее никакого представления о политических страстях, раздиравших империю, казавшуюся ему доселе некоей незыблемой целостностью, пребывал в состоянии полнейшего изумления.

Видимо, именно это состояние степняка, к которому Владимир Иоганнович за неполный год знакомства начал испытывать глубокое уважение и приязнь, и сподвигли исследователя нарушить свою отстраненность, и высказаться:

– Что же поражает вас так сильно, друг Махамбет? Или вы русских пиитов доселе не видели? Вы уж, право, совсем засмущали нашего степного гостя, Александр Сергеевич, хотя вернее было бы сказать, что это мы в гостях у него...

Махамбет и Пушкин ответили одновременно, сбив с толку старого этнографа:

– Акынов орысских раньше я и вправду не видел, но удивляет

меня другое, что народ ваш, оказывается, вовсе не един под властью императора ресейского, но также расколот, как наши жузы, бии, которые никогда промеж собой договориться не могут... – Что значит – в гостях? Земля эта под властью империи российской, и обитатели ее – подданные императора русского, а значит и сами – люди русские, и никак иначе!

Даль помотал головой, пытаюсь упорядочить в голове это смешение мыслей, каждая из которых ценна по себе, однако в совокупности – хаос и революция в уме человеческом!

– Да что же вы, право, вместе говорить удумали? Давайте-ка по порядку, любезнейшие! Начнем все же с хозяина, уж простите, что не во всем соглашаюсь с вами, друг мой Александр Сергеевич! – Даль повернулся к Махамбету, сидевшему напротив него, и принялся объяснять: – Вот вы, друг мой, умнейший человек, и по образу жизни кочевого народа обязаны наблюдательностью особой отличаться, однако не заметили разве доселе, какие разны мы все? Те же казаки яицкие, что по старому укладу веру веруют, и солдаты гарнизонные, коих вы в Астрахани, Оренбурге да Гурьеве вполне наблюдать возможность имели – в одних ли они правах пред законом государства российского? Не только верою, но самим укладом жизни своей отличаются, и даже зачастую презирают и ненавидят друг друга подданные одного и того же государя, и странно мне, что вы этого всего не заметили!

– Эк вы, батенька, по бунтарски-то заговорить изволили! Ай да браво! – восторженно отреагировал Пушкин на слова нейтрального политически доселе этнографа, и вернувшись за стол, в возбуждении принялся крутить в руках глиняную чашечку с травяным, уже остывшим чаем.

– И у нас, милейший, свое мнение имеется, хоть и в глухой провинции, вдали от событий да кругов декабристских обретаемся! – отвечивал Даль петербургскому гостю, наполняя ему чашку горячим настоем из серебряного чайника-кумана. Пушкин от чая отмахнулся, предпочитая свое горячительное, изрядно приложился к фляжке, и с неким лукавством обратился к Махамбету:

– А вот скажите мне, милый друг-степняк, не обидел ли я вас своим заявлением, что вы, будучи подданным императора российского, тако же русским именоваться должны?

– Не обидели! – помотал головой Махамбет. – Напротив! Ежели быть русским – значит быть таким как вы, то я готов быть русским!

– Вот! – торжественно вознес палец к потолку захмелевший Александр Сергеевич. – И к чему мы с вами пришли, Владимир Иоганнович? Вы, кстати, заметили ли, что я вас упорно по батюшке величаю на датский манер, а не Ивановичем, как вы уж наверняка тут привыкли!

– Так меня еще с рождения, в Луганске, что в Малороссии, только так по батюшке и величали! – ответил Даль.

– Верю! – воскликнул с усмешкою Пушкин. – Верю, милейший, что с самого рождения вы были столь солидны, несомненно, с усами и бакенбардами, что с тех самых пор малороссы вас исключительно по батюшке... Однако, как сказал бы лорд Байрон, вернемся к основной идее моей. Вот вы, потомок врача-датчанина, я так и вовсе арапских кровей, а для степняка примером истинной русскости являются не казаки-староверы, что посконность хранят, не солдатики гарнизонные, на ком мощь имперская держится, а мы с вами, чьи руки в чернилах, а в крови славянского ровно столько, сколько тех же чернил на написание геральдических древ наших истрачено. Няня моя, Арина Родионовна, была чухонкою, однако самым что ни на есть русским человеком. А потому и друг наш Мугамбет – человек русский, человек этой империи, этого государства! Понимаете ли вы мысль мою, друзья? – поэт вдохновенно приложился к флажке в очередной раз, дав возможность высказаться даже не собеседникам, но слушателям своим.

Впрочем, Махамбет лишь кивнул, Владимир Иоганнович же возможностью высказаться воспользовался:

– Отчего же не понять? Собственно, я даже спорить с вами не считаю нужным, поскольку считаю вас правым в данном вопросе. Но есть нечто, что изрядно смущает меня в этой благолепной

картине, столь пафосно нарисованной вашим талантом, Александр Сергеевич...

– И что же это, уж будьте любезны объясниться? – Пушкин словно упивался своею ролью абсолютного и непререкаемого авторитета в этом пусть узком, но столь близком ему по духу и таланту обществе.

– Извольте, объяснюсь. – Даль сделал маленький глоточек из чашечки, смочив горло, и продолжил. – История государства российского не единожды уже становилась свидетелем того, как возрастающий на плодородной почве иноземных нововведений, великорусский, я бы даже сказал – великомосковский шовинизм, принимается за уничтожение того, из чего произрос. Причем более всего неистовствуют в своем панславянстве, как правило, те, чьи предки еще в позапрошлом колене из немецкой ли слободы, из голландского ли гостевого двора, носу наружу казать не могли...

– Уж мне ли не знать! – нахмурился петербургский поэт, явственно вспомнив измывательства, коим по первому году подвергался в Царскосельском лицее от будущих товарищей да почитателей своих за то, что на французском языке изъяснялся свободней, нежели на языке отечества своего. А вспомнив фамилии, присовокупил: – Особо рьяны в том выкресты, что из жидов в православие подались, всяко стараются более русскими казаться, нежели кровные «иваны»!..

Пушкин сказал, да осекся, заметив изменившееся выражение лица Даля. Живой ум поэта в миг обнаружил и оценил допущенную им оплошность: отец Владимира Иоганновича, будучи чуть ли не придворным врачом на родине своей, бежал из Дании в самый разгар гонения на иудеев, и даже по получении подданства российского определен был за черту поселения, установленную императрицей Екатериной Алексеевной для беглых жидовинов в Малороссии. После, с ее же благословения, принявши православие, и что того важнее, став признанным врачом, получил дозволение на проживание в Петербурге со своим

семейством. Однако кому, как не сыну хоть и датского разливу, но таки иудейского выкреста великой Катеньки, ныне обижаться на такую грубость со стороны потомка арапа Петра Великого?

– Ох, простите вы меня, Владимир Иванович, Бога ради, все это бренди шустовское, язык мой не в те степи ведет! Вот уж и в самом деле, эх да Пушкин, эх да сукин!.. – принялся было каяться Александр Сергеевич, но Даль одним жестом остановил его:

– Будьте любезны не перебивать, коли объяснения требовать изволили! А впрочем, слова ваши, да и мои нынче, только в подтверждение этой мысли прозвучали! Когда потомок арапа винит жидов в яром русофильстве, а потомок тех жидов за то обижается... Комично ль, трагично ли – история рассудит. Только вот предстоит той истории еще и рассудить, почто потомки жидов да арапов словесность русскую творят, медицину, науку, тщась государство русское вперед двигать, а кровных «иванов», как вы выразиться изволили, сыны да внуки все в чиновничество норовят, за обряды посконные, за право крепостное, за все, что отечество веригами тяжкими в темное прошлое тянет, держатся? И ведь время пройдет, и думаю я, ничтоже сумняшеся, что дела жидов да арапов гордостью государства русского станут, и уже наши потомки, возомнив себя более славянами, нежели все прочие, станут таких, как наш друг Махамбет, в «нерусь узкоглазую» записывать, хотя я вам, как этнограф говорю, что вот эти вот узкоглазые и есть истинные хозяева земель, что ныне в подданстве русском значатся!

– Агай, люди войну затевают, споря, чья земля, а земля в конце смеется, говорит – вы все мои! – робко вмешался Махамбет, и замерли в изумлении от мудрости степной и этнограф, и поэт. Смотрели на степняка, а тот продолжал, уже уверенным голосом. – У нас в степи землю делить не принято, потому что все мы под одним небом, на одной земле живем, голые в мир приходим, так же и уйдем из него. В землю уйдем, пылью станем, так чего ради спор затевать?

– Да вы, друг мой Мугамбет, антигосударственные речи ведете ныне! Уж не изменник ли вы? – засмеялся Пушкин, выйдя из

оцепенения. Улыбнулся и Даль. Захлопнул книжечку, встал из-за стола со словами:

– Довольно нам ныне витийствовать, друг мой Александр Сергеевич, вам завтра рано с обозом на Уральск выезжать, мне же еще доклад генерал-губернатору готовить о состоянии дел в гарнизонной лечебнице, я, знаете ли, тут еще и жалованье военного врача получаю, отрабатывать надобно! Да и друг наш, наверняка, утомился от разговоров наших, смею сказать, не очень-то и благонадежных с государственной-то позиции! И пока не договорились мы и в самом деле до измены какой – пожелаем-ка ночи спокойной, да и расстанемся каждый по делам своим.

Пушкин покинул горницу быстро и решительно, в своей обыкновенной для этого вечера манере. Махамбет посмотрел ему вслед, затем осторожно поинтересовался у Даля:

– Большой акын... такому не должно никого бояться... Так почему мне кажется, что он в каком-то страхе, говорит кажется смело, но будто в самом сердце своем озирается, нет ли кого рядом?..

Владимир Иоганнович опустил взгляд, заговорил тихо, словно испытывая стеснение от слов своих:

– Мы с Александром Сергеевичем... как бы это сказать... Быть может, в степях ваших еще и сохранился древний обычай чтить поэтов настолько, чтобы не признавать за ними зависимости от мужей, властью облаченных, однако же в России нашей, друг Махамбет, поэт завсегда – больше чем поэт. Видать, со времен варяжских то пошло, когда скальд только конунга своего хвалить должен, иначе не быть ему сытым за пиршественным столом, однако в наших весях так издревле заведено, что коль владеешь словом ты, то изволь слово это, и весь свой талант государю подчинить. Быть не токмо поэтом, но и тем, кто словом службу государеву несет.

– А нельзя иначе, – удивленно спросил Махамбет, – как у нас в Степи принято: «Бас кеспек болсада тил кеспек жок» – «Можно голову отрезать, но язык не отрубить»?!

– Можно, друг мой, можно! – еще тише проговорил Даль. – И тогда, опять же, поэт – не только поэт, но еще и осторожный, каторжный, смутьян и бунтарь, почитай – изменник. Мы уж с Александром Сергеевичем через все это прошли, по молодости, я,

знаете ли, и вкус похлебки осторожной изведаль за первую работу свою... сказки удумал малороссийские собирать... Объяснили, на всю жизнь втолковали, кто в государстве хозяин, и ежели охота тебе и впредь за пиршественным столом место иметь, а не в острогах маяться, будь любезен почитать великоросса, а то и стать таковым, благо, за преданность государю в империи нашей только великороссами и становятся! Поэт же наш и вовсе по молодости бунтарь был дерзновеннейший, в стихах своих и супротив государя, и даже церкви смело геройствовал... Однако и ему пояснили, кто в нашем доме хозяин, и какому иконостасу поклон бить надобно. Женился он, детьми обременен, поэт, почитай, самый что ни на есть в почете, что на Руси, что за границами империи нашей, а поди ж ты, из долгов выбраться никак не мог, а как супругу свою к двору представил, да камер-юнкерство получил, так дела выправляться стали. Объяснили соловью, каку песнь ему петь пристало, чтобы не голодать... Сломали нас, друг Махамбет, я нынче по приказу государеву, толковый словарь великорусского языка составляю, для императорского географического общества отчеты пишу, Александр Сергеевич же... ему и того меньше дозволено, только б семья при дворе обреталась, жалованья хватает, а все порученья – чтобы сам подальше от столиц бывал... Негоже об этом, простите! Так что я вам сказать хочу, друг Махамбет! Если можете – сохраните себя, не ломайтесь, не прельщайтесь столованьем от государей ваших, ежели душу сохранить хотите... или же – прельщайтесь, и станьте русским. Как мы! Опять же, не самое позорное место в истории, смею надеяться, нам за то уготовано!

Махамбет кивнул. Затем встал из-за стола, грузно, будто неся на своих плечах всю тяжесть невеселых мыслей этого, столь приятно начинавшегося вечера.

– Я с утренним обозом вместе с Александром Сергеевичем поеду!
– Махамбет говорил, будто извиняясь, что оставляет Владимира Иоганновича одного. – Мне в Орду возвращаться надо, письмо я получил от побратима моего, Исатая Тайманова. Должен рядом с ним я быть, помочь, а то странные дела у нас в степи нынче делаются. Говорят, он теперь – изменник!..

+ + +

Жангир Керей сложил письмо от секретаря оренбургского генерал-губернатора, задумался.

«Он бросил моего сына, Зулькарная, в Оренбурге, одного, предал свой долг, и помчался к своему побратиму, Исатаю! Не ко мне, своему другу и благодетелю, а к этому суровому воину, который ничего ему не дал, кроме этой жестокой, непонятной мне воинской доблести! Он променял мою дружбу на... на что? Чего ему еще надо в этой жизни, ведь все у него есть, всем я его наделил, как когда-то мой отец – его родителя? Неужели эта греховная страсть к моей Фатиме так ослепила его сердце, что вытеснила оттуда верность ко мне, своему другу, своему хану? А разве со мной – не тоже самое произошло? Разве из-за ревности своей я не отправил его подальше от себя? Так что теперь тут, я, хан Жангир Керей, или мой друг, Махамбет – изменники?»...

+ + +

*Бросит озеро лысуха,
коль ковыль вдруг возгорится.
Коль погибнет верблюжонок, –
зарыдает верблюдица.
Рыба станет жертвой чаек,
измельчает, коль водица.
Коль у дедовской кольчуги
кольца ржавчиной покрыты –
не остаться неубитым,
как бы храбро не рубиться.*

Махамбет Утемисулы – «Дедовская кольчуга» Romanlar